

ГЕЛИЙ
КОВАЛЕВИЧ

ОТ
МИРА
СЕГО

ГЕЛИЙ
КОВАЛЕВИЧ

ОТ
МИРА
СЕГО

Рассказы
Из дневников

 ЭТЕРНА

2018

УДК 821.161

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

К56

Ковалевич Г. Е.

К56 От мира сего: Рассказы; Из дневников. – М.: Этерна, 2018. – 464 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00328-4

В книге вы познакомитесь с рассказами Гелия Ковалевича за большой временной отрезок – с 1960-х до 2000-х годов. Его герои – люди из разных социальных слоев, без внешних эффектов, жизнь как жизнь, с ее злом и добром.

УДК 821.161

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-480-00328-4

© Г.Е. Ковалевич (наследник), 2018

© ООО «Издательство «Этерна»,
оформление, 2018

Гелий Ковалевич. Многим ли знакомо это имя?

Не знаю. Не думаю.

Между тем он больше пятидесяти лет работает в литературе, и порой ему сопутствует редкостная удача. Это не только мое мнение – самые лестные высказывания о прозе Ковалевича я слышал от признанных мастеров нашего цеха. А «Золотое перо» «Комсомолки» и «Известий» лучшей поры этих изданий Т. Степанов с восторженным недоумением допытывался, прочитав подборку рассказов в «Дружбе народов»: «Слушай, кто это? Я-то думал, что у нас разучились так писать...» (Мы в «ДН» тоже кое-что смыслим: подборка, удивившая чуткого читателя, была отмечена премией по итогам 1998 года.)

Случилось так, что кроме кабинетов «ДН», где я познакомился с Гелием и изредка пересекался, в последние годы мы оказались еще и соседями: по московским масштабам человек, живущий за полверсты, очень близкий сосед. Соседство способствовало узнаванию некоторых жизненных подробностей, дополнивших читательские впечатления.

Вот судьба: один из первых больших рассказов Ковалевича «Никанор и Анна», написанный в середине 50-х годов прошлого века (право, сегодня это звучит почти как «средневековье»), отметил Михаил Шолохов. Рассказ и впрямь превосходен – плотная, упругая фраза, свежий, живой язык, особая писательская зоркость, значительность, эпичность интонации, органично сочетающаяся с лиричностью, – вот свойства, присущие этому писателю от молодых лет и по сей день.

После «Никанора и Анны» были еще рассказы непривычные, сказать точнее – неприемлемые в условиях литературной жизни тех лет: слишком мрачные по колориту, обнажающие корни социального неблагополучия. Их не публиковали, более того – не печатают, ругали автора, обвиняя в идеологических перекосах, чуть ли не злокозненности. Много лет зная Гелия Ковалевича, уверен, что он не диссидентствовал и не боролся с социалистическим строем, не выискивал его язв и не обличал. В полном соответствии с органичностью своего дара он воспроизводил в слове то, на что откликалась ранимая душа, что фиксировала чуткая фотоленка его художественного сознания. Думается, это одна из особенностей своеобразного дара – непосредственность отклика на творческий импульс, без долгой предварительной канители и «муки слова». Разумеется, как истинный писатель, он тщательно работает со словом, но по существу исходный текст не перерабатывается: он либо удался, либо – нет. У каждого читателя своя мера требовательности и свой вкус: в моем восприятии, на дюжину рассказов (а работает Ковалевич исключительно в малом жанре) приходится две-три удачи, но цена их очень высока. Кстати, преданность малому жанру по-своему свидетельствует о свойствах этого редкого дарования, «хрупкого, как пыльца на крыльях бабочки».

Он не склонен выстраивать и организовывать большой материал, дописывать и перемонтировать эпизоды; он как бы выбрасывает игорные кости, по чьей-то прихоти складывающиеся в победную комбинацию, бурит скважину, которая либо дарует чистейшую родниковую воду, либо просто снашивает бурильную установку.

Мне не составит труда припомнить десяток превосходных рассказов писателя, почему бы не сказать – шедевров. Вот на пробу кусочек из удивительно печальной и нежной истории под названием «Стакан молока»: «А на лесной дороге она вспомнила речную свежесть, услышала запах рано отцветшей сурепки, мягкий тлен травы – тот особенный, невнятный в полдень и явственный, теплый от нагретой земли запах с лугов, который под вечер ненадолго берет силу, и оглянулась, и не узнала за слезами дорогих мест...» Весь этот рассказ о посещении не старой еще вдовой могилы погибшего на фронте мужа и странной встрече в придорожном селе восхитителен, от первого до последнего слова. Это тот редкий случай, когда прикосновение писателя к почве народной жизни подарило ему (нам всем!) чистейший ключ, поистине сказочную «живую воду».

Совсем по-другому хорош мрачный, угрюмый, фолкнеровский по колориту рассказ «Белый свет», с суровой и мощной сибирской фактурой, с куркульским борением собственнических страстей, жутким, неумолимым и неизбежным убийством племянника родным дядей по имени Ксенофонт. Время написания рассказа – 1962 год, когда у нас царит культ «старика Хэма», Фолкнера еще нет и в помине. Спустя десяток лет фолкнеровская фраза соблазнит и подомнет многих. Впрочем, у Ковалевича с великим американцем нету ни малейшего стилистического сходства. «Белый свет» рожден на русской почве, в русской литературной традиции. С создателем Йокнапатофской саги его сближает мощная укорененность в почве и интерес к темным сторонам человеческой психики.

Скажу еще об одном из замечательных рассказов Ковалевича. Это «Далеко, далеко за морем», рассказ об одном дне Ивана Бунина, прожитом вдали от России, близ селения Антиб. Бунин еще не стар, он полон сил, физических и творческих.

В рассказе все превосходно, по-бунински пластично и исполнено жизни: и «южная грязная теснота известняковых домов – что-то, пожалуй, крымское, гурзуфское», и аптечный йодистый запах моря в таверне; и больной старик в соломенном канотье, передвигающийся мелкими поразительно быстрыми шажками, сопровождаемый дочерью, тоже очень немолодой; и мысли о собственном творчестве: «Писал он легко, несколько даже презрительно по отношению к собственному удивлению: откуда что приходило, откуда бралась в нем жестокая ясность? А вот-таки бралась!..» После посещения таверны «в дни большой работы он сейчас же направлялся домой, не позволяя себе отвлечений. И каменной дорогой шел быстро. Вид его был нелюдим, взгляд высок и достоин, словно предстояла ему некая миссия».

(Все так, все превосходно.)

Но есть в рассказе эпизод совершенно восхитительный, волнующий, по слову поэта – «Над вымыслом слезами обольюсь...» На пути домой, спускаясь по лестнице, Бунин «услышал быстрые каблучки и остро почувствовал что-то нездешнее в них, в их энергичном легком взбегании со ступени на ступень, скосил глаза и увидел женщину почти рядом с собой. Молода, в ловкой жакетке, крупные уверенные колени, лицо явно русского типа... светло-карие

раскрытые глаза: как она глянула ими!». Этот русский стук каблучков на лестнице в Антибе: кто его расслышал – Бунин или Ковалевич?

Мимолетная встреча запала в память писателя, и веришь, когда в конце рассказа читаешь: «Утром он пил кофе за письменным столом, думал о “даме у моря”, стал писать с привычной внезапностью... И закончил “Солнечный удар” близко к вечеру».

Пересказывать еще? Понимающему достаточно.

Гелий Ковалевич автор десятка рассказов, достойных включения в любую антологию – рядом с рассказами Юрия Казакова и Георгия Семенова. К слову сказать, оба ценили мастерство своего коллеги и сверстника.

Десяток рассказов... Много это или мало?

Сколько дал Бог.

Александр ЭБАНОИДЗЕ
«Литературная Россия», 2009 г.

Рассказы



Белый свет

За ночь тропу замело, но Ксенофонт знал дорогу и сугробами вышел на озерный лед как раз на старом месте. Как только ноги перестали проваливаться, перестали с хрустом месить и ломать снег, он огляделся, ни на чем, однако, не останавливая взгляда. За спиной, в стороне деревни, из которой выбрался полтора часа назад, стоял низкий бессветный месяц. А впереди голая пустыньность озера и на том берегу словно бы чернел лес – так неверна была тьма предрасветного часа. Ксенофонту некогда было обо всем этом думать. Покружил по запорошенному льду и на середке, не передохнув, достал из мешка топор.

Он принялся рубить наново, и пока расчистил круг под лунку и изрубил в крошево лед, времени ушло немало: порозовели и отделились от сумеречного неба снега, ослеп месяц. Силы еще оставались, и Ксенофонт не мешал мыслям и говорил со своими руками, с которых не снял рукавиц, чтоб не напороться о лед, с топором, с рыбой – он слышал, как, задыхаясь, вяло билась она подо льдом и текла косяками к живунам, к холодным родничкам у высокого берега. Там по пояс в снегу стоял белый промерзший кустарник. К вечеру она придет, рыба, с черной озерной водой в его ловушку. Может, не одна щучка или чебак. А завтра бог даст и больше... Конечно, если ходить каждый день – бывало, уносил по полмешка, – неплохо заработает, и тогда, как просила старуха, купит у знакомого в районе еще и приемник, который «играет с пластинок». Такой тяжелый дубовый ящик, а снизу другой, как патефон. Будут со старухой после чая слушать сибирские песни.

Только к полудню Ксенофонт отложил мокрый, зло блестевший лезвием топор. И посидел на снегу, на подостланном мешке, свесив ноги в неглубокую лунку. Ни мороза, ни усталости он по-прежнему не чувствовал, но знал, что рукам нужно отдохнуть. Сегодня они еще сгодятся, чтоб нести улов и топор и поробить по дому. Ему было за шестьдесят далеко, а они были еще старее, руки.

Он смотрел вниз, в ледяное крошево, и прикидывал, на сколько работы. «Пять бы кило взять и щурят на уху. Пирогов бы с чебаком!» А снова взявшись за топор – он скользко звенел и взблескивал голубизной неба, – Ксенофонт ни о чем уже не думал: ни к чему много думать о рыбе, она может не прийти.

И все-таки он устал скорее, чем руки. И в глазах у него померк свет, когда наконец разогнул спину. Мешок тяжело встряхивали два чебака, потом он выкинул на снег золотисто-бурую щуку килограмма на полтора и оглушил обухом. Надо было нарубить прутьев, чтоб накрыть конец, иначе в нем прихватит курившуюся туманом воду, и Ксенофонт пошел ровным настом к высокому берегу. Ноги были как каменные, в глаза било солнце. Он поглядывал на небо – справа и слева от солнца стояли короткие столбы радуг.

Домой вернулся с закатом и, пока брел по деревне, не встретил ни души. В проулке высоко нанесло снегу, не пролезть. От плетневой калитки под ноги кинулся Мальчик с ласковым визгом, но Ксенофонт оттолкнул собаку; она прыгала лапами на спину, на мешок – голодными ноздрями, желудком чуяла рыбу.

Так они дошли до крыльца.

В сенях было холодно и темно, точно в погребе. Ксенофонт свернул свободную мешковину и, потянувшись, нащупал полку и глубоко задвинул мешок. В освещенную лампочкой кухню вошел вместе с собакой – в облаке пара.

– Ты, Ксена? – услышал он голос жены и слабо откликнулся ей, снял шапку и ватник, рукава ватника промерзли, были тяжелы и твердо постукивали, задевая о стену.

На ужин были вчерашняя щучья уха и пельмени. Жена нарезала хлеба, он лежал теплыми, вязкими ломтями, Ксенофонт брал большие куски, но ел долго и нежадно; хлеб приставал к деснам.

– Уморился-ти, поди, Ксена? – сказала старуха. Она глядела, как дрожала ложка в его руке. – Подлить?

– Есть – так подлей, – согласился Ксенофонт.

Он покосился ей вслед: шаркая валенками, шла с миской на кухню; юбка пусто отвисала на плоском широком заду. Над дверью топорщились давнишние первомайские плакаты; мелко стучал маятник ходиков... Ксенофонт встретил круглые собачьи глаза – они мигнули и насторожились, в рыжих зрачках переливался стеклянный огонь.

Старуха принесла полную миску.

– К Филиппову, новому-то председателю, сходил бы, а?

Она села рядом и сложила руки на большом животе. Собака, вздрогнув, вскочила, толкнула дверь в сени. По босым ногам Ксенофонта протянуло холодом.

Легкие волосы жены свисали из-под косынки на уши и, как живые, трепетали.

– Ходи не ходи! – вздохнул Ксенофонт, прислушиваясь к шорохам в сенях. Собака царапала дверь и била хвостом об пол.

– Ноги-ти не отвалятся, а укажет, куда еще писать.

Он и сам думал: нужно сходить к председателю. Какое дело – и этого снимут! За год их уже трое перегостевало. А человек дальний, из области; может, знает, как быть. К кому еще пойдешь скажешь: «Я бездетный, всю жизнь честно робил, а с такой пенсией смерть». Людей много, да ни к кому не подойдешь!

Он помешал в миске, есть, однако, не стал и отложил ложку.

Жена скучно поджала рот.

– Ай одни глаза не сытые?

– Глянь, Мальчик просится, – сказал Ксенофонт.

Он первый разделся и лег. Какие рыбные, хорошие были когда-то зимы! А завтра утренним первопутком идти на пустое озеро. Шесть километров туда и назад. Полный день... Не таежная река, нет рыбы, все не прежнее. Он думал о рыбе: идет к живунам пить свежий холод; он все видел, как стояла она плотными косяками, голова к голове, как реки промерзали до дна у берегов – был большой «загар». У живунов врубался в глубокий лед, пока не заливало водой, и тогда черпал и глушил дурную рыбу тяжелым ведром, и она плескалась и подпрыгивала на снегу, забывая им судорожные жабры...

Время это было давнее... Вся жизнь, за вычетом Первой мировой войны, прошла здесь, в Сибири, поначалу на отцовской земле, а когда бросил землю и дом – в ханты-мансийской тайге за Юганом на вольном охотничьем деле. Больше всех сдавал пушнины и рыбы – к артели прибился и работал ударно. Иначе бы как прожил? Нужду-холод терпел и ноги калечил, а робил и за страх, и за совесть...

Филиппов боролся с дремотой, то и дело по-стариковски засыпал, проваливался в утренние сны. Они всякий раз менялись. А очнувшись, с рассеянной живостью смотрел на свой полушубок, висевший на гвозде. Глаза начинало резать от сияния низкой голой лампочки; лампочка заслоняла заведующего МТФ, который сидел у двери. Он что-то говорил все время, и Филиппов досадовал: надо бы подняться и перетащить кресло подальше, в тень. Он стал думать, как это сделать. Всем своим тучным телом лежал в кресле, как на взбитых подушках; оно, тело, еще спало в коротеньких снах, одолевавших зрение и слух. Потом еще кто-то вошел, поздоровался и присел в углу. Голос заведующего был молодой, силовый. Филиппов щурился, лампочка раздражала все больше. «Кто ее повесил, дуру?» – с удивлением подумал он и вдруг навалился на стол и крикнул:

– Давайте сюда, ничего не слышу за версту!

Наконец он увидел заведующего. Тот был не так молод, как его голос. И, успокоившись, Филиппов отвернулся: как только увидел парня, придавленные шапкой волосы на лбу, блокнот в руках, сразу вспомнил, о чем ему говорили.

– Ну ладно, ну хорошо, – сказал он. – Твой учетчик путаник, проку от него нет. Так другого найди.

– Нету никого, чтоб подходил! – крикнул заведующий и оглянулся на сидевшего в углу: вот ведь какой, не сообразит простого дела. – Не такая это работа!

– А какая? – спросил Филиппов.

– Ну какая?.. – Парень с усмешкой посмотрел на толстое нахмуренное лицо председателя: наверно, он чувствовал даже некоторое превосходство, потому что все было ясно: новый председатель тутодум. И он опять обернулся к дверям:

– На такую должность надо, знаешь... Учет!

Филиппов ничего не ответил, пододвинул к себе папку, стал листать. И тотчас сердито отпихнул бумажку – это был список не выработавших минимума трудодней, тридцать фамилий.

– Я у вас чужой, это ты должен найти человека, – быстро сказал он. Заведующий пожал плечами.

– Не знаешь? – подозрительно спросил Филиппов. – А ты знаешь об этом, вот об этом? – закричал он, дотягиваясь до листка. –

О лодырях – о них правление, колхоз знает? А о хищении трех тысяч кладовщиком... Чего же ты тогда знаешь?

Он хотел повторить, что говорил на общем собрании в присутствии секретаря райкома: ему здесь совсем не по душе, но если уж выберут, пусть знают, лодырям и жуликам житья не даст, и – хотят выбирают, хотят – нет. Но передумал и насушился. Дела в колхозе были не в порядке. Лезут же с пустяками... «Щупают». В обкоме предупреждали: осторожнее, местный мужик – ух какой! А чего предупреждать? Жулик на жулике. «Снять – и под суд!» – сказал он себе. Он разволновался и обеими руками помял грудь. Как всегда, не выспался: теперь сон приходил к нему лишь под утро, и после шести особенно мучила дремота. И завтракал много позже. Выпивал рюмку и чувствовал себя бодрей. Но это в городе, дома. Жена у него была вторая, сорока пяти лет, и для дома и для хозяйства это было хорошо. И спали они еще вместе. А сейчас он жил один, с матерью – глубокой старухой, и заведенный домашний порядок нарушился. Он был недоволен.

За окнами все еще морозно синело, слабо отражался в окнах крашенный пол. Филиппов снял с гвоздя полушубок, с трудом вошел в рукав. Полушубок был бабий, жена отдала свой «для деревни», но он все забывал и сердился, когда не находил пуговиц на привычном месте.

Он старательно, до самого горла, застегнулся, надел шапку, опустил уши и пошел к мраморно мерцавшей голландке, где был выключатель, думая меж тем, что надо завести абажур, и лучше – зеленый, а лампочку подтянуть выше, и в это время навстречу ему встал человек, что вошел посреди разговора с заведующим.

– Ну слушаю, – устало сказал Филиппов. Он достал рукавицы и держал в руках. Человек заговорил о какой-то артели, деньгах, кругло и жалостливо глядя в глаза; Филиппову было жарко от полушубка. И вдруг померещилось, что где-то видел мужика – в Ханты-Мансийске, что ли, в Тобольске, вот точно такие глаза, по-звериному глядящие в самую душу... И, хмурясь, перебил:

– Ты что же, не местный? Родом не из этой деревни?

– Родом нет... А живем со старухой Ариной Петровной здесь. Ксенофонт, по отцу Васильич. Кисельниковы мы. Да вот взглянули бы! – Он стал что-то отстегивать во внутреннем кармане, вытащил сверток, перетянутый резинкой. – Может, от вас какое содействие по прибавке пенсии... Помочи – ниоткуда!

Бумаг было много – пожелтевшие справки с печатями, отношения, книжка ударника, выданная какой-то промысловой артелью... Филиппов сдвинул их на середину стола и посмотрел на свернувшуюся резинку. Он уже вспомнил – с той внезапной живостью памяти, какая бывает у стариков, что какого-то Кисельникова в девятнадцатом расстреляли колчаковцы вместе с родственником по первому браку, и братская могила с деревянным обелиском по сию пору в палисаднике возле школы. И он рассеянно спросил:

– Это родственник твой тут похоронен?

Ксенофонт сначала не понял.

– Ну. У школы! То-то мне припомнилось...

– Это по отцу. Это верно... Робил всю жизнь, – тихо сказал Ксенофонт. – Это, может, другие – а тут по совести робил, честно. Все указано.

– Ну да, ну да, – покивал Филиппов. – А в колхозе давно?

– С пятьдесят пятого. Шесть лет. А до того сторожил при детсаде. Филиппов вздохнул.

– Я не собес. Что я? Тот тоже чужак: найди ему человека!

Ксенофонт собрал бумаги.

– Значит, не будет содействия? – со слабой угрозой спросил он.

– Я сам не выложу на стол. Тебе что – десять годов от роду? Куда идти, не знаешь?

– Понятно, – сказал Ксенофонт. – Значит, пропадать?

На улице он почувствовал слабость под коленками и постоял у ворот. Зря или как намекал председатель о родственнике? И в понятие не возьмешь. Какой стороной ни поверни – не к пользе. Станут копать заново, доискиваться: кто есть сам и откуда? Что братана отцовского, голодранца, Колчак к стенке прислонил, так по его же дурости – сроду не сидел смирно...

В животе вдруг пусто сделалось, и что-то так мучило, что ноги не шли. Но все же пошел, не помня дороги, и шел как по высокой встречной воде... Небо было чистое, не поднялось еще солнце, в полях растекались бледные сияния. Все было точно как после смерти родителя: брел с похорон ромашковым лугом, под уздцы вел лошадь, запряженную в телегу, разулся, перекинул связанные сапоги за плечо – жалел обувь. На пыльной дороге от облаков было сумеречно, легким холодком дуло в спину. Гроза собиралась. И когда вспыхнул под солнцем и жарко посветлел воздух, он глянул на

свою дрожащую тень: она была черной на белой пыли! Не чуял он ни ног, ни тела, кривил мокрые губы. А в голове звенели колокольца, как от голода: чего ж теперь, без отца, с хозяйством-то, господи?.. Хозяйство было большое.

Ксенофонт шел мимо почты – это был красный кирпичный дом с высоким крыльцом, старый купеческий дом. Ксенофонт глядел, как во сне, на заснеженные тяжелые ступени. День за днем ждал, вот придет из области письмо от того обходительного веселого парня, корреспондента газеты, что в октябре с неделю жил у него, пел под водку сибирские песни, а потом переписал в блокнот все документы, отказы и справки... Уехал дождливым утром, чуть свет, и полуодетая старуха, всхлипывая, кланялась в пол, стоя на коленях. Парень в мятом плаще прикуривал от огня лампы: «Помогу, мать, все будет в ажуре!» А теперь не октябрь, и никаких вестей. И концов теперь не найдешь – ни в ихнем собесе, ни на прежней работе, ее теперь и в помине нету. Все как сгорело на ясном огне!

Дома в тепле отошли ноги, он полежал на топчане, сухо глядя в пол, на красные истертые половички. Был уже день. В соседнем дворе вскрикивал, бил крыльями петух. Пора было собираться. Он поел хлеба на кухне, завернул в чистую тряпку и положил в мешок двух разваренных чебачков.

Только с темнотой вернулся той же тропой с озера, мешок принес под мышкой: в котец нашла мелочь, он выбросил ее, припася одного шуренка, промерзшего, твердого и шершавого, как чурка.

Так он ходил на лед каждый день, и рыбы было только-только самим. Дни стояли и солнечные, и с тяжелыми морозами, и хмурые, метельные, заносившие дороги, – все было для него одно и то же с темна до темна. Однажды вывихнул себе кисть, когда рубил лед, и пришел с пустым мешком. Было то ли воскресенье, то ли нет – у магазина на крыльце толпился народ; стояли машины. Верно, и в самом деле было воскресенье: вдруг появился племянник-пимокат с двумя бутылками.

Ксенофонт прилег после озера и проснулся от громкого говора; горел электрический свет, на потолке качалось лучистое кольцо от лампочки – племянник в демисезонном длинном пальто, узкоплечий, сутуло ходил взад-вперед. Ксенофонт видел небритое, пьяно опухшее лицо, сигарку у рта. Гость что-то говорил старухе. Ксено-

фонт слез с кровати и обулся, придерживая руку, – он не мог и шевельнуть кистью.

– Это чего, с праздником, а? – сказал он, поглядев на стол.

– У того и праздник, у кого – во! – крикнул племянник и хлопнул по карману. – У стариков шинкарей за гуся выменял.

О стариках Ксенофонт знал понаслышке: живут у оврага, в последнем порядке, да и то лишь по тому, что получали ежемесячно денежные пособия от дочерей и сыновей, не как он. А сверх того старички, и верно, «шинкарили» потихоньку: как магазин пустует, у них всегда вино. Деньги, значит, водятся. На рыбе не наторгуешь...

– Ну, рыбак хренов, – сказал племянник, – чего-то у тебя рыбы-то нет? Ходи к тебе... Ты мне подкинь, слышь!

Ксенофонт взглянул со стеснением и тоской.

– Ушла куда-то, не найдешь ее, – со строгим лицом прибавила старуха. – Активность ихняя вражья. Заводы, значит, заражают... Как жить?

Племянник бросил окурок на пол.

– Завод черт-те где, а доходит! Садись, Петровна, с мужиками.

Он скинул пальто, остался в рубахе, сел к столу, оттягивая на горле тугой ворот. Выпили все трое поровну, по стакану. Порожнюю бутылку пимокат поставил под стол и затолкал ногами.

– А я веселая, песенная была! – слезно засмеялась старуха. – Бабами, девками хороводила. Бог мене простит, ай нет?.. Как же ж, сынок, жить-ти? Ждать нам от властей?

Она тяжело глядела, как двигалось жилистое горло пимоката. Вдруг горло перестало ходить вверх и вниз, пимокат злобно скопился на Ксенофонта:

– А ты ее, власть, нешибко подпирал. Глянь – ее уж, как тех баб, меняют. Черетьева-то сняли со склада – и под суд! – Он налил себе и хозяину.

– Неудодный, – сказал Ксенофонт.

– Дура! – отшатнулся племянник. – На кого спихнуть ищут. Он пропилил на рубль, а ему докажут на тыщу. И поставят своих у колхозного мешка. А тебе, престарелому, не положено. Председатель-то много посулился дать?

Ксенофонт помолчал, потом слабо возразил:

– Я к человеку отношение вижу...

– Отношение! – презрительно крикнул пимокат. – Человек одна живёт, в одиночку мыкает. Вроде тебя! Это по газетам все мы братья. Оно, может, и будет, да когда ещё! А нынче так: сунься хоть ко мне, а я тебя локтем по соплям! Чтоб постиг.

– Пока ноги таскают, я роблю, – сказал Ксенофонт.

– Ты ему нужен? Старухе своей нужен.

– Кому это?

– Им! От он, старый пес, новый-то... Который по счету уж будет? Ты ему нужен? Никому!

– Почему так? – спросил Ксенофонт. – Не по закону.

– Ксена, ты б сказал-де, в артели как робил, ноги-руки ломал. Никому не жалко чужого.

– Ха! – засмеялся гость. – Закон вспомнил! А вот где ваш Кешка? Сколько годов не знаете. Потому что куркуль ты нищий! Зверь! Ладно, разговоры... А надо добавить. Где у тебя беленькая сохраняется? – уверенно крикнул он старухе.

И впрямь появилась четвертинка, старуха мигом принесла из кухни. Ксенофонт не удивился и не обрадовался: было все равно. Ценил копейку, одну к одной нес про чёрный день, на нужду учёный был жизнью, только и водочку держал про случай, и Петровна любила, лихоманка её задави. Пузырек-то откудова, как не с полки, заставленный был посудой?..

Похохатывая, племянник притянул старуху к себе и подмигнул Ксенофонту:

– У меня дурной глаз. Как у цыгана!

Утром он резал гусей в сарае. Вошёл в сарай с легким сердцем, держа топор за обух. Но от крови, со свистом бившей из-под топора, тяжело распалился, довёл себя до неистовых дум. На третий день, как заступил этот новый, у Черетьева провели ревизию: «сам» явился и привёл бухгалтера. И насчитали! Бухгалтер знал, это факт. Или догадывался – тоже едва вывернулся; за девять месяцев, пока назначали и снимали председателей, только ленивый не волок к себе в дом.

А сперва был порядочек, разные там накладные-обходные и списывания – все ловко покрывали, чин по чину! Не первый раз и не первый год. И ребята «свои» подобрались: управляющий отделением совхоза, что по ту сторону тракта, здоровенный малый, фут-

болист-второразрядник, приезжал на мопеде; были из леспромхоза да кое-кто здешние... Черетьев помнил, кто брал и сколько. Был с головой. А потом как глаза-уши залепило, пошел по бочкам – наделал следов. На правлении, считал, отобьется – и не отбился...

Пимокат сорвал с себя перемазанный фартук, скомкал и зашвырнул на мокрую солому, широко открыл ворота, чтоб вынесло кровяной дух. Фартук был из старой клеенки, протертой до материи, еще виднелись на нем голубенькие цветочки... Походил среди кур, вымыл руки в тазу. За обедом допил утренние остатки, и принесла нелегкая Черетьева. От него теперь какой прок? Кончилось время, покуда не прогостевался. Вот и весь разговор! А с первыми сумерками сызнова вышел во двор «остудить голову». Уже завалило сугробом высокий порог сарая, поземка запорошила примятый, забрызганный кровью снег. Даже во дворе стоял жирный смрад гусиных потрохов. Из раскрытых сеней в спину поддувало кухонным теплом; он стоял на снегу, в одних калошах, прислушивался к дому и улице. Потные волосы смерзлись, и зашлись уши, голову стягивало, как веревками...

Весь день Филиппов провел на ногах и в езде – возил колхозников в областной город на цирковое представление и только вечером вернулся. Окна в доме были темны, он долго стучал в запертую дверь и чертыхался. Потом старуха открыла, увидела его и затряслась:

– Васенька, убить меня тут хотели!

Филиппов побежал в комнату и сразу запыхался: с рамой было высажено одно из уличных окон, осколки стекла завалили стол. Старуха в голос завывала.

– Кто приходил? погоди ты трястись... Кто был тут?

Но старуха ничего не могла сказать, у нее уж и язык не двигался. Кое-как Филиппов увел ее в кухню, помог забраться на печь. Приходил поперву ктой-то – только-то и добился от старухи, приходил и сидел-ждал на пороге, жалостливый из себя... «Это, верно, опять тот с бумажками», – догадался Филиппов. Сам ложиться не стал, снял лишь полушубок. В комнате все оставил, как застал, – для милиции.

Потом все-таки прилег, не ужиная, так устал с дороги, и от шагов за стеной его вскинуло.

– Впусти-и, мать твою!..

Филиппов втиснулся в узкие сени, мешал толстый живот. Тогда повернулся боком – а снаружи гремели в дверь сапогами.

– Сейчас! – крикнул Филиппов и откинул засов.

И точно – Черетьев. Зря тормозил одуревшую старуху. Кому еще быть! Филиппов и не помнил, как с маху ткнул сапогом Черетьеву под живот...

В милицию он звонил из сельсовета:

– Или меня арестуйте, или его!

Впервые за долгое время Ксенофонт в это утро так и не собрался на озеро. А утра стали мягче, голубее, была середина марта. А как раз под сырую погоду круто свело ноги, с такими идти некуда. Он откопал во дворе из твердого сугроба, из его черного влажного нутра, прошлогодние плетеные вентеря и перенес в дом. Руки еще служили – и не повреди он кисть, можно бы заняться ижевкой, почистить и по старому насту уйти на знакомое тетеревиное токовище да сделать шалаш. Только ходок он никуда, не как тот пьяница-чалдон с Лены, из Больше-Алтымского интегрального хозяйства: чуть не босым ходил на охоту – весь день по зимней тайге, по стуже... В молодости и у самого было здоровье. С охоты – что с гулянья: «Дай отдохну мал-мала – дров наколю!»

Старуха ходила с ведрами к речной проруби и от соседок узнала, что ночью забрали кладовщика Черетьева. Подпил сильно и ломился к председателю с топором. «Это поблизости были мужики, – убить грозил!» Ксенофонт равнодушно вздохнул: от несправедливости так и бывает.

Днем снова явился племяш, стал просить в долг рыбы либо денег, укоряя, и как бы в шутку сам слазил в подпол проверить, но рыбы не нашел. Он сидел до обеда, покрикивал, ругал «власти»: «Его, председателя, судить надо, и ему еще подстроят, найдутся». Клянчил, обшарил все полки и накурил полную избу. В конце концов старуха дала трешницу, и пимокат ушел. И снова пришел через день. Ксенофонт был за двором – раскидывал снег вдоль плетня, – и вовремя увидел, бегом поспешил к дому. Племяш выкурил сигарку на крыльце и долго тряс дверь, оборвав кольцо. И народу никого не было на улице – точно вымерли.

На ночь и даже днем Ксенофонт стал держать дверь на запоре. Работал на дому свою работу: плел для колхоза корзины под семенной картофель – рубль корзина. И вечерами жутковато стало за тяжелым засовом. Жди, как нагрянет лихо, ни стуку, ни шороху не учуешь. Эх, а как любил песни – смертная тоска и слезы, самому не петь бы, не слушать... Как любил прийти на поселок, подвыпив: все знакомые, сердитые на жизнь мужики. Какой там люд в тайге – что зафлаженный волк. А что ему! Потолкается у магазина, а потом в «красном уголке» кино крутят; за день объявление висит. В кино людишки веселые, живут, не скажи, богато, не скажи, бедно. Одно слово – кино! А любил – после и тайга веселела...

А что теперь было делать в клубной избе, полной молодежи? Смотреть, как гоняют шары на косом, ребристом бильярде? Собрался, пришел – так и кино дали в начале одиннадцатого: было собрание. Кричали со всех концов. Из года в год об одном: о ремонте моста и дороги. Каждую весну по брюхо тонут грузовики... «Ладно, мы на своем комсомольском собрании решим окончательно. Воскресник организуем!» Ксенофонт пригляделся к соседке – то-то знакомое лицо, не она ли с осени должна рубль за корзину? Он сказал ей об этом.

– Батюшки, запамятовала! Принесу завтра к обеду. – И пересела в сторонку, к бабам.

«Жди. Принесет!» Рубль мучил все кино, да и понять не мог, что там показывают, – то и дело рвалась лента и зажигали свет.

Старуха вышла в сени не скоро – обил кулак, пока стучал под окном.

– Насмотрелся? Двугривенному голову сломил...

Вспоминал вечерами о прожитом, и нельзя было взять в толк – с сожалением или так, как всегда: путалось в голове... Словно бы не закрывал глаза, а будился от собственного храпа. И как-то ему даже привиделось – на удивление! – из самой ранней поры – будто его рождение праздновали. Отец в новом картузе, криво торчавшем на густоволосом затылке, в ярких, крепко и вкусно вонявших сапогах. Ловко сидели эти дорогие, бутылками, сапоги! И уж, конечно, тесно было от гостей. «Малого родила! – строго и твердо говорил отец. – Ага, мать!» И словно бы слышал и видел Ксенофонт, как ударила гармошка торопливую «барыню», и отец кинул взгляд на свои сапоги, на лица гостей: «Кабы родился да в дело годился!», как

пошел впрыскаду по избе мимо сундуков, беленой печи, бросая руками...

Чему же тут было ужасаться? А ужаснулся. Старуха лежала рядом у стены, ровно дышала ртом. Ксенофонт послушал ее дыхание, тишину дома. Стало казаться, осторожно топчутся, бродят под окнами: хруп-хруп-хруп... Потом догадался: метелит. И вздохнул, напрыгаясь животом. Несытая тяжесть давила, было нехорошо... Ксенофонт забывался ненадолго, и опять его будил собственный храп, и опять чувствовал неопределимую тяжесть в животе, томился и настораживал слух.

Все помнил: давние обиды и давних врагов. Теперь вспоминал, как в далекую даль глядел. Кешку-сына, врага, одна тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения... Отца с матерью куркулями попрекал – бог простит, пожалей его, если живой! Это по комсомолу ему было положено, ладно. От хозяйства к тому сроку тьфу осталось. Двор разоренный, против прежнего, отцовского, втрое менее: пара лошадей да скота сколько-то, хоть по пальцам считай – не обочтешься, весь тут. Вот такой «куркуль» вышел! Не тронули, обошло стороной, позажиточней жили. Да и Кешкой с его комсомолией заслонился. А что у Колчака доламывал солдатскую службу, грозил донести – вот за это сопляку штаны спускал: «Господи, мобилизованный я был, куды деться, сынок!» Скучливо, жестоко порол и не мыслил, что начнут «таскать». Вроде глухих делались: мимо ушей проносили, как он про мобилизацию ни твердил. И не отстали бы, не подайся он за Юган-реку, не пропади со свету...

Жить-то было можно и в тайге на болотах – не один, а с бабой, значит, и хозяйство какое ни на есть. Люто жалел, извелся по своей землице – господи, на кого? И бабу колотил под дурную руку смертным боем: и за Кешку ей вымещал, и за то, что лютел, за жалость свою к добру, по ветру развеянному, от которой света белого не видел. А нажил одни годы да еще то, что на трудной ходьбе чугунели ноги и руки перестали годиться для точного дела. Вот оно чем обернулось – прожить столько лет на болотах да на лодке в весеннюю полую воду...

Да не любил он людей – ну их к лихоманке!

И сызнова мысли перебивал племяш: придет ночью пьяный, дверь сломает – не отобьешься, еще и стянет чего. Собака не умеет стеречь дом, больно ласковая, сама приведет худого человека. «Уда-

вить – на рукавицы пойдет, – буднично думал Ксенофонт. – Сожрет больше. Да жалко...»

В далекой высоте, не нарастая, не отдаляясь, катился железный гул – значит, ночь подступала под утро. Рейсовый самолет шел из Тюмени на Омск – от самой Москвы... Он пролетал над деревней каждый день и, ближе к утру, каждую ночь.

А потом грянула первая беда.

Это было в воскресенье. Все-таки он пошел с утра на свое озеро. Подморозило, и можно было напрямик настом.

Приозерный перелесок был уже черный, только березы чисто белели. Ксенофонт нашел прошлогоднее токовище, приглядел и место под шалаш, думал поставить одни жерди в свой рост, но провозился – покрыл да еще заслонил ветками и набросал снегу.

А назад вернулся проселком. Проселок местами подтаял. Близок был вечер, вода в лужах отливала розовым, пузыри растекались подо льдом. Солнце на снежном поле горело как сверкающая речная рябь на закате, и дорога терялась на солнце, уходила в низину; там тянулась зеленая, среди темных проталин, узкая полоса – по низине протекал ручей. Уже поднялся наверх старый наст в старых следах от лыж и вдоль зимней тропы торчали дыры с рваными ледяными краями. Ксенофонт не мигая глядел на солнце, заходившее за высокие березы; лицо его было устало и равнодушно.

Он рассказал старухе про шалаш и про то, что нет рыбы.

– Глаз у меня еще верный сохранился. Ты ружье куда девала, завтра хотел почистить?

– Да висит, поди, где висело.

Она поглядела на мужа пристальней и на миг не узнала: не показывал на старика, и глаза были жалостные и жестокие.

Ксенофонт обшарил клетушку за кухней, перерыл наваленную на сундуке старую одежду – не было ружья! Кровь отлила от лица.

– Ить утром была!

Они не ложились до света. Старуха копалась в тряпье, причитала: «За что ж нам такое, от людей-ти покою не видать? Ой, Ксена, скажи!» Ксенофонт молчал как убитый. А утром забрал все деньги, какие были, и поехал за сто километров в Тюмень. До автобусной станции в райцентре довели на попутной. В город прибыл уж к ве-

черу и заночевал. Он знал: ружье взял племянник на пропой, чтоб распутничать с бабами. Но не пошел ни к нему, ни в милицию...

За сутки Ксенофонт исхудал, еще больше потемнели и ожесточились его глаза, но вернулся с новой двухстволкой, и в обратной дороге ему повезло, прикатил на колхозной машине. Попросил старуху истопить баню на вечер и сел у раскрытого сарая доплетать вентера.

Племяша он увидел возле дома на тропке, и пока тот подходил, Ксенофонт немо глядел ему под ноги, на мокрые следы в снегу.

– Почем за штуку берешь? С меня б недорого взял? – спросил пимокат.

Он постоял, покурил... Из дверей высунулась старуха и ахнула:

– Господи! – И заголосила, завьла в сенях: – Мальчик, узы его! Господи... Узы его!

Собака с радостным лаем бросилась пимокату на грудь, но тот крепко ударил ее в бок и дико огляделся. Ксенофонт стоял в темных воротах сарая, в опущенной руке был зажат нож – забыл о нем, как увидел племянника.

– Пошто пса стукнул?

– Я кишки выпущу! Человека травить? – И переменялся в лице, попятился, глаз не сводя с отточенного ножа: – Люди-и!

Из-за калитки он крикнул жарким шепотом: «Дом спалю – на отсидку пойду!» – и у Ксенофонта сердце покатилося...

Под вечер прошумела недолгая метель. Старуха собралась в кухне стирать, брякала и ворочала корытом; несло паром. Ксенофонт ждал, когда выйдет во двор, она мешала думать о ружье, все что-то бормотала за дверью. А нужно было додумать. Был шалаш за озером, может, пристреляться? Он всегда наверняка бил по дичи. А может, припрятать в сарае ружье, переждать время. Под корзинами, где неслись куры, туда и припрятать... Бог мой, вдруг подумалось ему, какие были зорьки! Но не мог вспомнить, когда же это было с ним: тайга, его охотничья молодость... Все от него отодвинулось. И он тихо затосковал и закрыл глаза.

Темный, пустой мир окружил его. Точно издалека слышал Ксенофонт тоненькие метельные посвисты в каменной печной утробе, тупые шаги старухи, по временам что-то плескалось на пол, долго и мерно капало, но эти звуки странно не мешали теперь, в душе

он знал, где он и что с ним. Он не чувствовал ни страха, ни радости в этом мире... И, покоряясь, с жалостливым изумлением на самого себя сказал: «Прости меня, Господи!»

Одно тяготило: зябли ноги, половичок настелили с мороза. Он положил ступню на ступню и увидел сверху чьи-то молодые глаза, люди в белом шли по дороге, неся над собой красные флаги. Там, на стене, было Первое мая... Ксенофонт смотрел на плакат, и люди следили за ним, пока искал валенки и обувался. А в валенках ноги согрелись, покальывало пальцы на левой ноге, он пошевелил ими. Тут же достал из-за кровати патронташ, снял с гвоздя в клетушке ижевку. «Я лишь гляну», – сказал жене, взял лампу и вышел.

Медные гильзы позеленели, в сарае Ксенофонт обтер их ветошкой и нарубил из старого валяного голенища пыжей.

Он помнил, как пришел к дому племянника, как отворил дверь к нему в избу. И когда встал на пороге, племянник, в распущенной рубахе, нес на бегу кипящий самовар; было натоплено, хозяин, видно, намеревался один сесть за стол – жена с детьми уже легли. Он глянул на Ксенофонта, и глаза его сразу стали далекими...

Заряд правого ствола угодил в пах – его враг еще стоял. Тогда Ксенофонт поднял выше, и второй выстрел был точен. Оба ствола были заряжены «тройкой».

Быстро он вышел на крыльцо. Над улицей, вспуганная выстрелами, галдя, кружила стая ворон. Одна слетела под фонарный столб, собрала крылья и колченого запрыгала по свежему снегу. Ксенофонт пожалел: как ей, должно быть, неловко со сложенными крыльями...

Ружье он повесил в комнате, пошел во двор, в самый его конец, где стояла баня.

Пот лился между лопаток, по лицу, пока в темноте нашарил спички на подоконнике. Жар был тяжелый, сырой. Лампу с вечера Ксенофонт оставил в сарае, пришлось ходить за ней по морозу.

Он не парился, а только помылся немного – все что-то заботило, все что-то хотелось вспомнить. И вспомнил – о ватнике. Как бы не свалился: висел над лоханью с холодной водой, там в стене был сучок. Тело саднило от бежавшего пота. Ксенофонт едва натянул на себя кальсоны и рубаху, она промокла насквозь на груди и под мышками. Он задул лампу и с колотящимся сердцем шагнул за порог, как в ледяную воду.

Старуха спросила, попарился ли да оставил ли ей вару.

– Может, мне сходить?

– Сходи, – сказал Ксенофонт.

Он расстелил полушубок на полу и лежал не двигаясь, остыл и даже как будто задремал. В этом коротком сне видел себя в бане, с жалостью смотрел на худой свой живот и опять беспокоился о ватнике, который нужно от кого-то спрятать под дверь, и тогда тот, кто должен был войти и взять, не войдет...

А спустя полчаса пришли два милиционера.

Ребята это были веселые, выдавшие виды. Один из них, с табачными желтыми усиками, прислонился к косяку и участливо покачал головой:

– Что же так, дядя? Придется тебя забирать.

Ксенофонт ждал старуху. Она все не возвращалась. Он сорвал со стены, из-под занавески ружье и кинулся в дверь...

Догнали его на улице, недалеко от дома. Было светло от молодого месяца. Ксенофонт шел, запрокинув голову, точно слепой, и на ходу пытался стряхнуть с ноги валенок.

– Прощай, жена, прощай, белый свет!

Его повалили в снег и заломили за спину руки.

На следствии Ксенофонт был как потерянный. На вопросы отвечал невразумительно. И очень хотел видеть старуху – пусть принесет книжку ударника. Тогда разберутся, кто он есть.

Когда же опрашивали соседей, те тоже не могли рассказать толком – получалось даже, что не знали этих Кисельниковых, хоть и рядом жили.

ОВЦЫ

Отчего бы мне худо, ежли и табачка деручего вволю, и душу ополоснуть найдется, и не замерзаю на печи в тиши Божьей? После чарочки любо и почеломкаться с бабеночкой... Под боком она, матушка, да в придачу из головы возьму горяченькую, памятную, яко Господь из Адамова ребра. Ай это грех?

А бездорожно на душе, будто зимой в лесу!

Приперся давеча сопляк, от роду пятнадцати годков. Не за искрой Божьей, затеплить, ибо как в темном сарае душа-то, а налей, поп, пойду девку трахать...

Пред ликом Богородицы шейку дерет поганец, дак я его по перстам: не смей! И вон выдворяю. С руганью, не сдержусь, живой человек.

Спозаранку встал на лыжи, батожок в руку и, было, куда глаза глядят. С ночи мутно, сине... Старушка с полведерком от ледяного колодезя: благослови, батюшка! Сокрушаюсь про себя, какой я батюшка, в стороне от храма, изгаженного мракобесами. «Бог благословит!» Подсобил с ношей старушке полупосильной, раскланялись и врозь.

Бреду средь елок. И чо бормочу?.. Отворотился от людей в своей скудости. Нехорошо мне. Покамест до тракторной просеки дошмыгал, и мир посветлел, моя тень поперед меня запрыгала. Вот: поперед человека она, вся наша поруха оттого, что к свету спиной!

В долгом поле поземка, ветром знобит. Да уже и поселок за ветлами, луковка храма ободранная, без креста, дымки поднимаются розовые под собачий брех... Заглавная улица в мелкий овражек уперлась, горбится сарайный сруб и гдей-то за ветлами тут ручей. Не промерзает до дна – тугой ход воды подо льдом. Но искушусь. Шаг за шагом – на твердь, как по живому. Невнятные звуки и голоса во дворах за заборами, деваха в облачке избяного пара бежит к скотине, кофта, юбчонка затрепанная, колени пощипывает морозец. Дую табачок себе в бороду и не нагляжусь на задастенькую: жизнь!

У автостанции базар будний какой-нито. Баб-клуш наперечет, кто с чем, нехитрым. Автобусы редки об эту пору. Кого возить? Одно – прежнее здешнее вспомнить да свое молодое. Вывалит, бывало, из автобуса толпа на бульжник, а там кошевки, розвальни... На рыси, разметывая мартовские лужи, летит в новеньких, блестящих подрезами санях дядька в ушанке, сбитой на глаза, лихо развернет лошадь, разнесет сани по льду. Побегут бабы, путаясь ногами в валенках на галошах, попадают в отъезжающие сани... Солнце, весенние небеса, смех, брызги с полозьев! В забегаловке-чайной теснота, физиономии и трудящего люда, и портфельного, и мелкого самого-самого, все локоть к локтю уступчиво и нечинно – как в бане. Из тутошнего своего торчания полусумеречной головенкой усекал истину российского продувного великолепия: кабак с баней неписанный устав единит, равняя всех наподряд. По неведению, по молодому недомыслию это у меня было – про равенство-то...

Ладно. Лыжи под мышку и в лавку, покамест торгует. Без огородного запасаца не живу, а песочку к чайку унесу. К чайку да кой для чего еще. Ибо грех за отраву да за таковскую цену себя в убыток ставить перед властями, кои туда-сюда свою монополию извертели.

Знакомый дядек бесцельно сует нос от двери и зыркает. Местный атеист, учитель – ребятишек наставлять. Не фактурный мужичок. Окликает и брюшком на меня:

– Здорово живете, Илья Михалыч! Со встречи бы... по обычаю. Вскорости-то пост у верующих.

– Все шустришь?

– Избави бо! – И щерится: – У нас, небось, бутылочка под рясой. Двойного перегонца, слеза!

– Я, – говорю, – под рясой зелья не хороню.

– Смеюся! Побеседуем за чайком, покалякаем...

– А не надо смеяться. Я строг на такое.

Ладно. Идем к нему на квартиру.

Пока учитель-бобыль налаживал чай, чем было и занять себя, как не табачком. Да разглядывать пучки каких-то травок сушеных в глиняных махотках. А по стенам голо. Одна-единственная полочка на гвоздях, где все его подручные тесно собрались: Ульянов-Ленин со Сталиным и «Молодая гвардия» писателя Фадеева в компании с нашим землячком Беловым, коммунаками заласканным. Доводилось читать радетеля о нравах, ничего.

– К тебе, – говорю, – школьный пастырь, на урок ходит соплячок из переселенцев. Почто не отвращаешь от пакостей? Пьет, не уважает никого...

– Вы, Михалыч, мне махоркой воздух чадите. Не курили бы!

– Вот и ты гостя не уважаешь. Я с тебя дело спрашиваю, а меня табаком коришь. Так мы, беседуя, в тупичок уткнемся. Вон у тебя на полке какой совок! При беглом огляде все как следует быть. Корифеи. В чужой вере живешь... А призадуматься, то вопросик: вместе с ними станешь ответ держать перед людьми и Богом?

– Поп-то вы вроде без прихода.

– Будет храм, будет и приход. Здесь будут!

– Прогресс истории свое покажет...

– По простоте душевной я тебе, слышь, философскую базу подведу... не холопскую. Нынче я на свою тень собственную обратил взгляд. Всегда вперед норовит! И в одном ты, может, прав. Твой прогресс лицо жизни тенью накроет. Вот смешно тебе, побирушка ты на троих!

С учительшикина чаепития зло озяб я, полем идучи неспешно, куда дорожка моя проторенная лыжная вела, до ельничка. А в лесу тишина, и об учительшке забыл. Солнышко низенько с полдней сошло, лишь снег похрустывает под лыжами. Встану и слушаю предвечернюю благодать, дышу ею...

Так до дому добрел. Совсем уж присмерклось, в окне огонек. Неужто уходя поутру запамятовал? Нет, бабеночка моя встречает. Приехала! Отгостевала у сестер в городе. И слава Богу.

Я бороду огладил, и расцеловались.

– А ты никак синиц в лесу привечал? – смеется.

– Нет, – удивляюсь, – не привечал.

– Гляжу, идет, снежинки роятся, сам что-то насвистывает. А птахи над головой так и порхают...

– Неужто взаправду?

Щи у меня хоть вчеродневные, да на сальце, с гусятинкой. В печи стояли, накрытые, ненастывшие. Картошек чугунок. И хлебушка нарезал.

С молитвой сели за стол друг подле дружки. К праздничку нашему я и чарочку не миновал, на лесной ягоде... Вскорости бабеночка моя пошла постель разбирать. Оба с дороги, ей же большая выпала, так что и по неподзному часу на покой бы можно. Поглядываю

на ее дородный стан, на прядку у виска. Ах, Господи! И сама на меня косится... В молодости, бывало, руки к груди прижмет, как защиту ищет, тем пуще прельщала – покорностью ласковой...

Уснули мы, изнежась, проспали зимнее утро.

А уготован нам был подарочек посерединке крыльца – нагаженное. Еще снежком не припорошило...

Зачем так-то? что же это?

Накинул шубенку и напрямик к дому переселенной семейки. Хамовой ее именую. Прошлый год сюда докатились, беженцы, по слухам... Сам, мужик гонорный, с бабой и отпрыском, да двое его холостых братьев. Эти – так на так. Пащенок же истинный варвар! Шкодлив, мстителен – пакостник. С отцом его не разговор. До чего ж увертливый, дурачком держится, вроде учительшки-коммуняки. Один из другого проглядывает... Смешно им, что не услышат: «вон чаво, я и не знал, так-так, угу-угу!» Ничего иного. То пьяный балаболит похабное. Хам и есть.

Сейчас бы его щенка в охাপку да носом потыкать! Очень я раздосадовался. Однако на полдороге поостыл. Умом понимаю, негоже злом на зло. Да всегда ли ум-то разумен?

Придержал я себя, вернулся.

А днями как-то папашка сопляка, вижу, отдуваясь, волочит на санках где-то отодранные полкрыльца. Брошенного жилья там-сям набирается, на коих крыша завалилась донизу, а иные еще посто-яли бы. Умирает одинокая жительница, следом и дом ее. Не трогали, почитали память об усопшем... Из каких краев это воронье залетное, я не вникал. Будто бы бумага есть, завещание на пятистенок. От тетки, которая померла в позапрошлый год. Самого ли тет-ка, жены ли...

Загородил я мужику дорогу, говорю:

– Крылечко-то никак покойницы бабки Борисихи? Без спросу взято. Стало быть, краденое. Ай-яй-яй!

– Ай-яй-яй! – мужик мне тем же в ответ. Дерзит.

Ладно.

– Твой пащенок у меня напакостил. Не с жалобой я, а с уведом-лением. Думай пока!

– Не словил? – интересуется.

– Кабы так-то.

– Вот, начальник, и суда нету.

Ни о чем, как обычно, пустой разговор. Не снеси я дерзость, а вздерни за грудки – вaju-то я знатно и росту приличествующего... Господи, пошто сызнова подавил гнев во мне?

И сам себе ответил: поделом. Как ты, так с тобой. И в растерянности теперь... Не уважаю этого человека, не могу, укоряюсь, что духу моего не хватит добром-миром и ублажением мерзости унять, сам пути не вижу, молюсь страстно, вожделяю от Господа воли Его, знака светлого. Стыдно мне...

Старушечки просят: огороди, батюшка, от напасти, требует малый, дай ему денег, а где ж взять? так он грозит «все разнесу!». Со двора кошку приманит, разбойник, ударит и подбросит под окошки либо поленницу опустошит и порушит... Милиция: приведи, говорит, с поличностью. Без поличности прав не имеем. Сами пьянбуянь.

Что и сказать рабе Божьей? Один я в людских глазах за утешителя и власть, немощный человек.

И никакого мне знака от Бога!

Упросил епархию сюда посадить, дабы слабых поддержать, лечить больных овец Божьих в захолустье. А был ранее как за тридевять земель от злословия и недоброжелательств, в смирении уповал на благоразумие человека. Но что творит он, себя не помня! С собственной душой в грызне, как с соседом. В преисподнюю валимся, не по делу живя. Разбредаются мои овцы и достаются на съедение всякому зверью... На замирании местная жизнь, велик людской исход. Где поля шумели – неглядно: пустоши либо лес. Переселенцам было возрадовался. А угнездилося новое зло. На храм как на общую обитель надеялся – и глаза отвращаю от порухи, мусор вихрится в алтаре, скорбь. И уже не смирение во мне, коли длитя такое!

Зима протяжная у нас, на Пасху метели метут. А сей год явилась бурная весна. В середине марта над голыми буграми туман встал, наст в полях ломкий. В поселке непролазь.

За полнедели отлопатил я от кирпичного сора паперть и далее вглубь. Ребятишек заманил на разгреб и отгаск. И отскоблил где до самого полу, мелкими плитками выложенного. Блеснули они под небом в купольном проломе и заиграли разноцветиками!.. Потружусь, думал, елико будет моих сил. А там и восстановительные работы начнутя.

Наслышались про затейного попа, сворачивали глянуть. Я выходил наружу. В рубахе, сапоги пыльные. С лопатой в руках – не с крестом покуда... Утирался рукавом, над плешивой головой парок. Все ж таки умаивался я. И разговаривал с людьми. О долготерпении. Что не близим жданное. И более некому позаботиться о самих, коли не самим же.

Один так ответил, мое мимо ушей:

– Тут по́том не возьмешь. Технику подгонять.

И ушел.

Согласились, хотя заметили: ставить бы наново дешевле.

К делу охотников и мало не выискалось. И ребятишкам уж не в ту забаву.

Вот не знаю, к какому концу моя речь.

Ночью опалило стены внутри храма. Под костром – не иначе, Канаановых рук пакость – вздыбило пол, растрескало. Верно, потихоньку и догорело само до головешек, чадивших дымками серыми...

На́ вечер поднялся я от ручья на поле. Дотерпел до лесу, выхлебал купленную четвертушку. И, отдышась, подождал, что скажут мне скудные глотки.

Вслушивался, казалось, в сокровеннейшее в себе... А лишь ветер и скрипы древесных стволов.

Летел сильный ветер над опушкой, над висками закоченевшими. Раздувал звездную пыль – огни небесных селений. Да зыбкое заревце над селением земным...

Тмутаракань

Все вокруг скверно состарились...

Еще узнаваем тот или иной: дернется на лице мучительно-живой тик, и проступит отдаленно знакомое. Увядшее, бледненькое. Мне смешно, не больше.

Однажды на вечер выпускников института (десятилетний юбилей) явился дряхлый уродец и перепугал: кто? кто такой? Потом брезгливо обнаружили – сокурсник. Да, видно, был в тяжком недуге, впоследствии и доконавшем беднягу. А тут по-русски смиренное и повальное одряхление. Оптом доживают свой век...

Ну, вот эта уличная, мельком, встреча с давним моим воздыхателем. Декабрьское бесснежье, слякоть, одет дурно (донашивается), личико тусклое, обывательское, во взоре бездна... Я отвернулась к магазинной витрине. Его отражение налипло на мое в мутном стекле и стерлось. Я видела, как человек удаляется, и впервые не позлорадствовала. Мои волосы искрились на воздушной сырости, а шея, щеки в отсвете красного шарфа, казалось, обожжены.

Не люблю своего лица. Никогда не любила. До такой степени раздражало несоответствие представлений о себе с явным полуродством: манера облизывать сохнувшие губы, ведьмино косоглазие и усики, я усатая. Странное лицо. Как бы и не мне принадлежит. С гримасой отпугивающей страсти... Обращенной внутрь.

Действительное уродство или маска, под которой нечто, еще не выраженное, младенческие, не установившиеся черты? Бесконечные их пробы – мой истинный облик?

Зато, когда голая разглядываю себя перед зеркалом, изобретая несусветные позы, то поражаюсь: с каким вкусом вылеплено тело. Пожалуй, избыточным. И не меняюсь с годами – загадка. Ни единой сухой или вялой линии. Да нет, так не бывает! – хочется мне сказать.

Девочкой я сочиняла в забаву что-то вроде стихов. Эти сведенные в созвучия словесные пары!.. Воображались дамы и щеголеватые кавалеры на блеске паркета, в струях свечных огней, в чопорном менюэте... который сопровождали внезапно совершаемые

соития – музыкальные слияния двузвучий. «Красноречивей ты, когда я нем. Свое молчание с моим сверяешь...» Впрочем, каждый раз сжигала над конфоркой газовой плиты. Вслушивалась в трепетанье пламени и кусала губы. Взгляд становился беспокойным, меня душил хохот. Наверное, кто-то из моих отдаленных предков кончил на костре... Неостывший пепел жжет мое сердце!

Я могла бы выйти замуж юной девственницей. Классический вариант, под любезную мне старину: помолвка, визиты, взаимное испытание чувств... Но никакого венчания (кто бы настоял?).

В доме мужа двоюродной сестры по пятницам иногда устраивались сходки непросеянного гонимого авангарда. Что-то сладенькое и безобразное вместе, вкрадчивость (включая нарочитую трезвость – лишь чаепития). А манера говорить, держаться, полутьма от зашторенной единственной лампы (непрененно!)... Читали стихи, раскачиваясь на цыпочках, словно кликушествовали. Я в самом темном углу со своими усиками. «Вам нравится?» Морщю верхнюю губу, быстро облизываюсь. Мне кажется, что все только прикидываются сумасшедшими. Садится напротив, коленями в колени и – без обиняков: я вас нарисую, напишу! Щетина на щеках, то ли отращивал «художественную» бородку, то ли просто неряшливость. Пепельно-серый (и в пепле!) мятый свитер... Я, конечно, позволю прийти, он меня нарисует. «Зачем?» – «Чтобы понять вас и себя». Это удивило.

Прекрасно сознаю, как ему удалось поддерживать во мне это одно из самых неясных чувств.

Пока он что-то жесткое выстраивал на бумаге из углов и ромбов, я размышляла об «оливковых руках, ангельском лобике и ножках царевны» (слова, слова, пробормотанные им как бы для себя, в нахмуренности). Царевна и оливковые руки... образы моих стихотворных фантазий! Мне делалось почти душно.

Что дальше? А то. Что вскоре призналась: «Я, кажется, влюблена!» Так и сказала. Непонятный взвизв, слом... Вмиг заложило горло, и на языке – миндальная горечь. На несколько дней с ангиной я свалилась в постель.

Я влюблена (казалось), а он... он любит, он навещает. Он любит! «Люби», – разрешаю, словно снисхожу. Целует мои «оливковые» руки, лоб и больно – воспаленные губы... и уже рядом со мной, распластанной на простыне. Напряжены его худые ноги, спрашивает, чувствую ли его – всего, я отвечаю: да. Одна проваливаюсь в сон и

просыпаюсь зимним солнечным утром (морозное золотое окно) – ни миндального жара во рту, ни этого подпора изнутри, державшего в состоянии взвинченности... тихая слабость, я вся в поту.

Странно, с небритым человеком (как всегда, в свитерке, распахнут, без шапки) оказываюсь у дверей загса, но он на замке, выходной. Какая непредусмотрительность со стороны жениха! Поделом ему. Стремглав переезжаю к отцу (с матерью в разводе, один), обрываю встречи. Только продлятся преследования и моя мстительная полуигра. Может быть, за пытку удушающим запахом миндаля, ненавистным теперь на всю жизнь.

Мои плечи, лицо, изображаемые им в виде сцепленных ромбов, и льстивые бормотания... Как вовремя я разгадала его несостоятельность! По невзрачной бородачке? Да нет же – по свитерку с оттянутым воротом.

Прошмыгал за спиной, не успев причинить себе нового вреда. Хотя как знать: что ему до прошлого!

Я пытаюсь понять смешную страну, где рождаются и прозябают несостоявшиеся личности, где пока живу. Скучно в этой смешной стране. То под аршином в кепке или картузе, то с беспальным барабанщиком... Под сухую, дребезжащую дробь пьяный клоун на подмостках вот-вот скинет штаны, разоблачатся дамы и господа и взвизгивающим скопом кинутся невесть куда сломя голову... трясутся, скачут, прыгают животы, бабьи груди, обрывком газеты стыдливый прикрывает свой зад – а уже кто-то очередной, волоча рукава смирительной рубашки, карабкается на помост...

Мой пятидесятитрехлетний импульсивный отец не верит, что надолго этот кукольный дом. Сие вообще его не касается, как дождь или вьюга за окном. (Он любит выразиться «поэтично».) И ерничит: оставил кафедру строительного института не потому, что я у него на руках, девица не удел, а «инфернальности ради». «А это что такое?» – «Кабы я сам знал!» И – непостижимо – за три года на каких-то торговых сделках с импортной сантехникой сколотил миллионы. О, мой Савва Морозов дочке ни в чем не отказывает! У меня квартира, в придачу где-то на Оке затеял двухэтажную виллу...

– Сожгут, конфискуют!

– А вот, кстати, поезжай и посмотришь.

Вникай, конечный пункт маршрута... иди сюда, вот река, петлей, приблизительно здесь – и ногтем отдавливает отметину на карте.

Я не вникаю, меня не интересует дача. Я знаю, мне долго не жить. Это не мое время. Опоздала, пролетела свое.

Нет, отец не настаивал, но почему-то поехала. Словно, зажмурясь, спрыгнула с балкона...

Пять часов автобус тащил меня по городкам, поселкам, набивая свою утробу людским смогом... сквозь болотистую лесную дёбрь и мелькание то солнца, то мрака. Я задыхалась.

Потом открылся простор, и был только свет. И что-то черное на предзакатном небе. Оно надвигалось, прошло мимо окон – руинами заброшенного монастыря. Мощные стены вдавило в землю, ни дерева и ни птицы над ними. Лик бесшумного, неостановимого разрушения глянул и отворотился.

Старый булыжный городок встретил ранними фонарями, колокольным звоном. Гостиница-особняк замыкала пустынную площадь.

В паспорт я всунула и десятидолларовую бумажку. «Ждите», – зевнули в высоком оконце. Мало? Здесь не Россия? И вот уже въезжая, надоедает откуда-то взявшееся зеленоштанное черноусье... предлагает «девушке отдохнуть, вместе покушать». Посидев в углу (рядок вокзальных скамеек вдоль стены), выхожу под уличные фонари – и все ласковей, наглее привязываются... что, есть муж? Зачем обижаешь, дуришь, косоглазенькая? У меня взъерошиваются волосики над губой. Перехватываю чью-то руку на плече и так стискаю зло, что слышу вскрик.

В двухкомнатном номере, этакого совмещенного типа – покои и что-то вроде кабинета-приемной с конторским столом и стульями, – запыленном до духоты, с зимы окна закупорены, я пробыла до утра, одна наконец. И очень легко и быстро забылась. А с рассветом пропал сон. Это мое вечное невнятное волнение!

Солнце оплывало за оконными шторами, и, когда отдернула, они вспыхнули облачком пыльного дыма. Створки окна все же подались с квакнувшим звуком: словно тутошний домовенок чмокнул губешками. Я кожей ощутила его присутствие... Донесло речную свежесть, тут же свернувшуюся в пыли, как скисшее молоко.

Б-бр! Нет, за дверь номенклатурно-чердачного... Вниз, вниз, мое путешествие кончилось, вниз на булыжную площадь. Сожгла бы тмутараканью казарму!

Шла мимо ларьков, магазинчиков под совершенно бандитскими вывесками. Вчерашние физиономии, дыры зевающих ртов...

Все это, временное, бодрящееся через силу, сваливалось куда-то к реке, к базарному гульцу. И стягивалось в полукружье, с середкой в виде обломанного бетонного изваяния. Я походила в реденькой толпе (местные мужики, бабы) и вышла к паромному спуску.

Брели навстречу бабули. Одна перекрестилась, заглянув мне в лицо. Меня передернуло. Набожная старушка напомнила мать: такие же вкрадчивая истовость и притворство. Я любименькая, но нежеланная... Двухлетним ребенком, на море (рассказывали), я упала с мола. Мать не заметила. Меня, голенькую, выплеснуло на песок – я не могу утонуть. Вообще я росла, что называется, сама по себе. Ни в добрую мать, ни в дурного отца-молодца. «Сама по себе?.. Вот и живи!» Я так и живу, распрощавшись с мамулей.

Паромный причал был пуст. На речную рябь натягивало синюю пленку, день был ветренный, где-то влажно стреляло развешенное белье. Я поискала его глазами и нашла – у крайней избы, с человеком, смотревшим в мою сторону.

– Виноват, на приеме у вашего отца не имел чести быть представлен, – сказал он, подойдя, и поклонился. (Короткий, воспитанный кивок.) – Михаил Александрович, с вашего позволения.

Мне послышалось, щелкнули каблуки.

– Здесь по долгу службы. А вы приехали вчера. Скверная ночевка. Позавтракать не успели...

Я отодрала волосы с лица. Какая церемонность и каков напор!

– Неподалеку неплохой кабак. Всегда свежие скатерти. Вид на заречные дали.

– А потом что? – спросила я.

Он засмеялся.

– Потом вы в собственном распоряжении. Прошу, Ольга Сергеевна! – И согнул руку в локте.

Да, забавен. Манеры... Правда, легкая ироничность. Худощав, строго подтянут, стрижен накоротко, отросшая мальчишеская «нулевка», с сединой. Хорош портрет? Хм, Михаил... Александрович. Стало быть, еще одно уличное знакомство? Теперь и провинциальное... кабацкое.

Поклонники (до романов не доходило) быстро увядали. Одна-две встречи – и вот уже потерял себя... скука, ощущение прилипчивого сорного пуха. Заискивания, робкие телефонные звонки, попытки выяснить отношения! Любовный симулянт не догадывается, что с ним покончено.

– Ну, ведите. Что мы стоим, – сказала я.

Он молча взял под руку. И молчал, пока не поднялись к собору с желтевшей в провальную тьму лампадкой над папертью. Вдруг освободил руку и придавил мои разлетавшиеся волосы:

– А вы и впрямь напоминаете ведьму.

– Я и есть ведьма.

Вид из кабака «на заречные дали» присутствовал. И скатерти действительно белые. Ну а почтительность (по отношению к моему спутнику) юного официанта сразила.

– Что будете кушать? – полуоборот ко мне: что, дескать, в этот, исключительный раз?

(Значит, баб еще не водил.)

– От рюмки... скажем, коньяка дама не откажется?

Я кивнула.

Разговор... да и был ли он в привычном смысле? Ни о чем, случайные реплики. Ни намек на «продолжение». (Это обычное, мужское: надолго ли? Планы? и т. п.). Вежливое подчеркивание расстояния. Но от кого отсчет?.. Род его занятий, возраст? Не определить. Седина над висками? Она и у меня.

Вставая, он сказал:

– Уезжаете? Автостанция рядом. Тем и хорош городок, что все под рукой. Но я провожу.

Довел роль до конца, и остался докучный пустяк: закруглиться.

Я была вне себя. Какого черта! Подобрали неприкайную одиночку, исподволь рассмотрели вблизи. Интересы не вызвала... Конечно, была оскорблена. Выяснилось: стройподрядчик у моего отца-плебея. С десятком таких же «сосенок с бору», из заводских КБ и НИИ... На судорожную отцовскую затею – дом, вила – взглянуть отказалась, все равно там не жить.

Чего мне стоило успокоить себя! (Это уж я одна дождалась автобуса. «Знаете, идите вы...») В дороге уgomонились и тетки, оставив мешочную суету.

С воем летело не шоссе – летела Земля подо мной.

Как я ненавидела себя, когда растолкала баб и выпрыгнула на первой остановке. Ненавидела и немстительные, неженские свои слезы!

Какой-то босяк возлежал у монастырских стен, ватник, грязная бороденка, и пялился, усмехался, пока я металась. Запорошил

дождь, тип умылся из водосточной трубы, утершись тряпицей, которую достал в мешке... Видела его на базаре, утром.

Я вернулась в город попуткой. Как-то дожила этот день.

И был вечер, была ночь. И снова вечер.

Моросило, я шла от реки, а он, М. А. (серое пустое лицо), торопился к причалу. Я не окликнула, но сбился с мелкого полубега... И как изменилось его лицо! Не смена выражений – слетела запыленная серость, лицо осветилось, разжалось... и это, промежуточное, словно бы сдернуло: я увидела юношеское.

– Где ты была? Звонил... Где ты была?

– Я была здесь.

– Не уезжала... – Нахмурился – и очень зло: – Ну вот что. У меня угол у старика и старухи. Возле реки. «Жили-были старик со старухой...» Идем, все остальное потом, потом!

«Потом», «остальное» – в незначашей фразе. Он пропустил в калитку, сказал: во дворе, на террасу.

Я поразились, какая тут бедность. Мокрый половичок на ступеньке, скопилась лужица... потянула фанерную дверь (торчал гвоздь вместо ручки) и за порогом сбросила туфли. Ноги были как лед. Ледяными были и руки, лицо. Я выпятила губу и отдула налипшие волосы. Прилегла куда-то, поджав ноги. И мгновенно уснула. Однако слышала, как вошел, как осторожно что-то расставлял на столе. Слышала его близкое дыхание: склонился надо мной... Под веками я свела зрачки и невидяще глядела ему в лицо, в упор, пока не отпрянул.

Казалось, глубокая ночь. Было же начало одиннадцатого. Взвон ветра, в оконце сарая напротив отсвечивал уличный фонарь; тихий дождь, на мне одеяло... Я ощупала оттаявшие ноги и вытянулась на узком топчане. Сквозь что-то посланное давили неплотные доски. Пресно, горьковато пахло от наволочки и от моих выветренных волос. Люблю этот запах – запах дождя.

Я опустила ноги с топчана.

– Извините, Михаил Александрович. Заставила вас...

– Извиняю. И давайте ужинать.

– Придется потом провожать.

Он зажег лампу. Сказал скороговоркой:

– А зачем тебе уходить?

«Даже так?» – подумала я.

Я уехала на второй день, неожиданно для себя. Ничего не предвещало бегства, не тяготило... разве что зачуханный быт (к такому я не привыкла). Все дни сырой ветер, ветер... Седые русалочки космы на песке мне представлялись... И вспоминала злые свои метанья вдоль монастырской стены, усмешку бродяги. Перед М. А. не было никаких обязательств. Близости я не допустила. Была бы она полна и взаимна? Да и насколько это важно для меня?

То самое «остальное» обернулось бы пустотой. Пространством пустот. (Давно сложившаяся жизнь, возрастная разница.) И мое вторжение в это пространство... В М. А. чувствовалась *порода* – только совсем не моя, из неопределенностей и отрицаний.

Я не выпрыгнула из автобуса. А он встал и стоял на черной монастырской траве, будто ждал, и тронулся, дребезжа заклинившей дверцей. В нее дунуло сквозняком.

У меня гадко мерзли колени.

Дома окружила никлая духота, но не отворила ни одного окна. Бросилась в горячую ванну, меня заволокло туманом. И когда всплыла, увидела, как стянуло кожу, как погрубел ее оливковый отенок.

Вечером позвонил отец. Не узнал моего осевшего голоса, решил: какая-нибудь подруга.

– У меня нет подруг, – сказала я.

– Учту. Дочь, приезжай. Ради тебя облачусь. Манишка, понимаешь, фрак. – Сколько энергии, шутивого довольства собой! – И кое с кем познакомлю... Ты слышишь?

– Да. Но мне это не нужно.

День был как день. Мой день, снова мой. Не выношу длительных отлучек. Своей потной, человеческой безликости. Оставляю ключья нечистой кожи...

День был как день. До момента, пока не позвонил отец. А я ждала не его.

Я закрыла глаза и из-за сотен верст мысленно проследила за перемещениями человека, ставшего тенью. Скользнувшей под стенами собора и затерявшейся среди водянистых теней от уличного фонаря.

Из дневников 2012–2015 годов

11 янв., среда

Все чаще, горше думаю об уходе.

И – о России.

А больше – о моей дочери-девочке...

31 янв., втор.

Рисунок на холсте углем (Рита), вдруг показалось, – Джоконда: загадочная полуулыбка.

Она и была загадкой, до последних ее дней.

Бреясь вчера (потому что солнышко – а так с одним глазом – как?), поразился: вот это дед!

Ах, сколько их ушло: тот же Ерасов (*А. Ерасов – друг с юности с художника. – М.К.*), Орлов, Ю. Казаков, Г. Семенов, Хотимский, Томашевский... и жена моя. Петрозаводский Сева Иванов, не дай Бог и Фолке... (*Фолке † в 2010 г. в Финляндии. – М.К.*).

Но – жена! Это удар нокаут.

9 марта, пятница

Вдруг достал с полки М. Ганину. Похож на нее в рассказах или – она на меня? Не был с нею знаком и не видел никогда. Был знаком с ее бывшим муженьком – ходили в Малеевке на лыжах, 10 км... не помню фамилии, тоже писатель...

И вот о ней, Ганиной, нынче (да и раньше, кажется) ни словечка нигде, никогда – а отличный рассказчик.

Загадка: почему молчок? Лишь о Ю. Казакове. О котором у Ганиной есть и опус, там он назван Юсом, Ю. Казаков. (Надо знать Казакова, чтобы за этим Юсом увидеть Ю. Пальча).

А нынче... нет никого из них, вообще – никого!

Глушь, тьма... пошлый хохот.

Эбаноидзе (вернувшийся из Индии): то да се и – умер А. Эшпель, хороший (даже отличный) прозаик-рассказчик. Забудут, как Ганину, как многих.

Культуру затоптать легко, сапогами, молчанием о ней, попсой, это не траву скосить, потом отава – поднимать будет нечего... А вот при Советах она была. Парадокс?

20 марта, втор.

Резкие перепады от плюсовой к реденькому снежку... Влияет ли на меня? – не знаю: стойкий оловянный солдатик.

Взялся за перелистывание НМ, где я в первый и последний раз (1996): номер (11) увлек: интересная статья П. Басинского о «Хаме» – культура, нравственность, уже – литература. Да и сам себе показался нехудо. Простодушно, изнутри. Если вчитаться – то вроде бы и от ума (но это – как взглянуть, как прочитать).

Зачем (причина?) залез в писанину, зачем мазюкал (выражение Риты)?

Сие от меня не зависело.

Словно не я был, а кто-то... о котором мне почти ничего не известно.

Да и вообще – кто-то этот за меня жил, не я, а «он». И посейчас – то же.

Я был я, когда в войну отдирали от заборов доски, волок (это надо же!) массивную деревянную дверь от магазина на 5-й этаж и топил буржуйку.

Вообще как бы не осознаю себя – кто-то, повторяю, – посторонний вместо меня: пишет рассказы, выпивает, ездил куда-то... переводил с языков (подстрочники), рецензировал чужие рукописи... все как во сне!

Ах, недаром сказано: жизнь земная и есть сон.

28 марта, среда

Маленький, что ли, подвиг – снять тел. трубку: если по делу, даже! По проклятому, литературному – рукописях тому же Саше Эбаноидзе, который, видите ли, никак не допишет роман из русской жизни, который весь в редакционных заботах, который...

Писание дневника...

Зачем? Ни за чем или высказаться? Что «высказать» и кому?

Жене, дочери «высказывался»?

Стало быть, себе самому.

Все без ответа: зачем, зачем.

Ни за чем.

По необъяснимой прихоти.

12 апреля, четв.

Вот – кто наш читатель? Интеллигент? Скорее всего. Технарь, художник? – А черт знает! Человек из 40-х годов, из 50-х?

Человек с одной – хотя бы из наших мозговых извилин.

Это всегда – «одной из».

22 апр., воскр.

Умники, эрудиты толкуют о нынешней России, кто без опаски, кто так на так – точнее, по-умному. И в одно складывается у них (по моему слабому разумению): с благословения «верхов» коррупция – легальна, всеобща... неизбежна на Руси, ленивой, блаженной, глуповатой и т. д.

26 апр., четв.

Наверное, я был честен (в лит-ре, в жизни). Или наивен? Болтал (лит-ра), не подозревая о худом. «Правда. А правды бояться не следует». О, М. Шолохов! Да ты ли это?

Как-то в редакции на Басманной: «Все еще ходите по редакциям?» (Что он имел в виду? – не понял). Ответил глупо: «Почему же еще все?» Больше корифея не видел – исчез в кабинете главбуха... А я за гонораром за рецензии приезжал в издательство. (Черт-те что вспоминается.) Да еще: звоню в гостиницу М. Шолохову, а он: «Дай мне фору, Гелий!»

Забавно?

2 мая, среда

Ни одного из моих опусов Эб. не взял – и я не то чтоб опечален, а сказал себе: вот и все, как всегда. И – выпил с горя – незадач вечных своих.

А рассказы, отклоненные, – добрые, я-то это знаю, чувствую.

12 марта, втор. (2013)

Всем хорош был Юрий Палыч (ко мне – вприглядку покуда) – все-таки перо крепко держал, но... загордился, думается. А я бы – нет на его месте? Нешто не грешен?

2 мая, среда

Сколько (и со страстью, не иначе) морочил себя писаниной, сколько лет!

Она, оказалось, вообще литература, – не нужна. Не нужна – и все тут!

Почуяли и всполошились: ах, ах – гибнем! С Россией вместе (с Россией, видите ли). Ю. Казаков в себе самом почуял (уходят от него словеса, и Россия ни при чем) и еще крепче на водочку надавил – и правильно сделал. О нем пишут: «Жизнь Юрия Казакова». А что он, автор, Игорь К., пишущий про эту чужую жизнь, узнал такого о ней, чего другие не знают?

Я вот о себе самом, ежели спросят, толком не отвечу... Жил, похоже, как бы вразброс: и то, и это... то ли всерьез, то ли...

А пора бы и ответить. Только страшновато.

14 июня, пятница

В удивление себе: перечитывая свою писанину, хмыкаю... неужто все это я когда-то? Не верится... Крестьяне, рыбаки, приятели-«прототипцы», придуманные людишки-несчастливцы, прочее...

Ума сейчас не приложу: зачем? Это волновало?

23 июля, втор.

Читаю вслух – себе самому – свои рассказышки (зачем – непонятно) и... что «и»? Да радуюсь! Потому что – хорошо, скотина, писал.

Вот еще что: жаль, очень, что без Риты. Помню о ней – что ни день: ведь она с нами.

Голубые ее, Риты, глазенки – голубые-голубые...

Этот голубой взгляд! Этот взгляд, его голубизна, пронзающая.

6 авг., втор.

Хорошо и удобно при социализме тем, кто прикидывался дурачком; хорошо, очень хорошо и удобно нынче откровенной сволочи.

11 окт., пят.

Господи, да нет этого понятия: стиль! <...> А стиль (у меня) – это внезапность. Откуда – никогда не знал. От характера какого-то там, судьбы, что ли?

Внезапность.

17 октября, четв.

По тел. прочитал Инне опус «Неурочная осень» – она: будь завпрозой, тут же бы в номер!

Эб. для нее – средней руки.
Саша Орлов – страдалец, ах-ах.
Наташа «не нашла к нему ключик».
Кто к кому искал?
Что это за «ключик»?
Его не ищут – он сам падает в руки с любовью.
С любовью?
С судьбой, какая откуда тебе – Сверху. Чаще вовсе не падает, ключик. Или – поздно...

25 октября, пят.

Этюдики свои расставил – и одним глазом. (А их, этюдиков, – килограммы на вес.) Абы что попадалось – то и писал, очень редко – в некую, что ли, удачу (пространство, предмет, если натюрморт), взгляд на пейзаж... А то все «натура-дура».

Без «школы», в одиночку – в полную одиночку.

2 ноября, суббота

Занятие – перечитывание старых дневников... И глуп, и мудр, и бессилён в мыслях (ежели были), в «чувствах»... и везде узнаю себя – не переменялся, разве что весьма постарел – лет этак на... 30, что ли...

6 ноября, среда

...листаю свою прозу (мать ее!), и такая скорбь, оттого что невдомек: кому, для чего? Нет последнего, что ли, удара – в конце – чтобы тихонько ахнуть и сердце почувствовать, как забилося.

Последние опусы куцые (следствие возраста, хотелось бы думать) – везде как бы пробелы, пустоты.

Читал внутренние рецензии – ох, и громили, порою хваля «за язык»! Хваля... Но больше разгрома: за что? – Сейчас это просто... Смешно?

Это – сейчас.

3 июня, втор. (2014)

Несколько фраз – из очень давнего писания – «Золотая чаша» (Туркмения, Нариман, покойный), и сказал себе: «Какой молодец! И как безоглядно наивен!»

Безоглядная «наивность»... Да в те годы! Нет, я – молодец.

18 июня, среда

Снова и снова повторяю: Бог послал мне Риту, жену, тихую утешительницу, друга, а то бы я погиб.

Я не писатель – я художник (слова). Главное оно, слово, а слово – это поэзия. Но уже повторяю себя самого, забыв и слово, и то, что связано с ним. Да – и многое, оказалось, другое – уже повтор.

4 июля, пятница

Эбаноидзе роется (с Машей) в моих рукописях – на предмет публикации: что взять.

Господи – бери все! Все – это последнее.

Сегодня открыл пишмашинку (Ритино приданое!) – впервые за годы открыл, пальцы еще помнят, куда ткнуть.

18 июля

А это всего лишь смешно? – один из «думцев» озабочен: в сторублевой купюре Аполлон голомя – и так выразился: «порнография»!

Не Дума – дурдом!

11 июля, суббота (2015)

Вроде бы есть что положить себе за добро: сочинительство... Да все утонет, утонуло в старых журналах.

Но – перечитываешь изредка (почти уж вполслепа) – подумаешь про себя: не для собственной утехы взялся за перо. (Да и какая, к черту, утеха!)

Сии соображения мирят с днями нынешними, хотя лад их – тихий минор.



С женой Маргаритой. Шереметьевка, 1957



Таджикистан, Нурек. 1964



С женой и дочерью. Зарайск, 1977



В Малеевке, 2001



С дочерью Мариной, 1991



81-летие. С дочерью Мариной и Натальей Орловой. 2010



С женой. Малеевка, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
РАССКАЗЫ	11
<hr/>	
Белый свет	12
Овцы	29
Тмутаракань	35
Одна	43
Лихоньки	51
Зойкина квартира	54
Блаженная	60
Июльские облака	64
Далеко, далеко за морем	73
И будет поле за тихим ручьем	78
Трава-мурава	85
Никанор и Анна	91
Возвращение Климука	108
Братья	118
Долгий сон в летнюю ночь	123
Хош гелдыныз!	129
И в ведро, и в ненастье	134
Жили-были	143
Пес-барбос	152
Тихий берег	155
Яма	171
Прощание	180
Суд	188
Поминки	198
Облачко	207
Последнее озеро	213
Крестный ход пенсионера Горбушина	223
Тайная земля	235
Осенью, на исходе	237
На песке	252
Каждому свое	262
Стакан молока	272
Молоденькая	276

Заклятье	278
Старик и его день	284
Дни и сны из жизни Лопоушки	290
Ремонт	307
Реквием	311
Белая рать	314
Боль	317
Рубеж	320
Гости	325
Мы просто были	327
Глиняная Ева	353
Дом	355
В сорока верстах по железной дороге	360
Холодные месяцы	368
История с натюрмортом	373
От мира сего	379
Россия, Россия...	382
Свет	384
Ладонь Господа Бога	387
Дорога	391
Неурочная осень	393
ИЗ ДНЕВНИКОВ	397
Из дневников 1955–1963 годов	399
Из дневников 1964–1974 годов	401
Из дневников 1976–1983 годов	405
Из дневников 1984–1992 годов	413
Из дневников 1999–2000 годов	428
Из дневников 2001–2004 годов	431
Из дневников 2005–2007 годов	443
Из дневника 2010 года	449
Из дневника 2011 года	449
Из дневников 2012–2015 годов	451

Литературно-художественное издание

КОВАЛЕВИЧ ГЕЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ОТ МИРА СЕГО

РАССКАЗЫ

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Книга издана в авторской редакции

Дизайн: *А.П. Зарубин*

Технический редактор *И.К. Лобан*

Корректоры *О.В. Круподер, В.А. Нэй*

Подписано в печать 26.05.2018 г.

Формат 60x90/16. Гарнитура Garamond

Печ. л. 29

ООО «Издательство «Этерна»

115477, Москва, Кантемировская ул., 59а

Тел. (495) 325-41-15

E-mail: info@eterna-izdat.ru

www.eterna-izdat.ru